

УОЛТЕР МЭККИН

БОГ
СОЗДАЛ
ВОСКРЕ-
СЕНИЕ

и другие рассказы

Уолтер Мэккин

**«Бог создал воскресенье»
и другие рассказы**

«Никея»

1962

УДК 82-312.2
ББК 84(4 Ир)

Мэккин У.

«Бог создал воскресенье» и другие рассказы / У. Мэккин —
«Никея», 1962

ISBN 978-5-907628-98-4

Повесть задумана как ответ простого, «отсталого», рыбака на вопрос образованного, «прогрессивного», писателя: возможна ли вера в современном мире. Рыбак строит свой ответ по дням недели, которые образуют главы повести. Судьба человека от рождения до смерти предстает как удивительно яркая и глубокая история радости и страданий, потери и обретения подлинной любви и смысла жизни.

УДК 82-312.2
ББК 84(4 Ир)

ISBN 978-5-907628-98-4

© Мэккин У., 1962
© Никея, 1962

Содержание

Пояснительное слово	6
Понедельник	8
Вторник	12
Среда	18
Четверг	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Уолтер Мэккин

«Бог создал воскресенье»

и другие рассказы

*Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р19-818-0659*

*Перевод М. Мироновой
Художник Антон Героев*



© М. Миронова, перевод, 1963
© ООО ТД «Никея», 2019

Пояснительное слово



Приезжает тут к нам на остров каждое лето человек один. У нас его Придумщиком прозвали. Свыклись мы с ним не сразу. Много всякого народу наезжает летом на этот остров. Красиво здесь в эту пору и тихо. Мир да благодать. И море, как овечка, ласковое. С каждым встречным и поперечным мы скоро не сходимся. Чужих мы сторонимся и мыслей своих заветных им не выкладываем. Такому что – приехал да уехал. А отдай ему часть души, так он ее, пожалуй, с собой прихватит. К этому же мы привязались, потому что он, что ни год, обратно к нам возвращался. Он к нам в душу влез, как пескоройка в прибрежный песок. Он даже говорить по-нашему подучился, и хоть и смешно было смотреть, что он ртом выделяет, когда слова выговаривает, но, по крайней мере, видно, что человек от души старается.

Каждый раз он появлялся у нас в таком виде, что смотреть жалко. Был он рыжий, и оттого казалось, будто он уж и вовсе плох. Он попивал. Там, у себя дома, он писал книги и всякое такое. Нам эти книги давать было без пользы, потому что в английском языке мы не больно-то смыслим. Но люди говорили, что, видно, он в своем ремесле хорошо поднаторел, если судить по тому, как он всякие истории рассказывает. Он и рассмешить умел, и так тебя рассказом своим пронять, что ты уж и на месте усидеть не можешь.

Ходил он обычно в фуфайке, какие у нас на острове вяжут, и в старых штанах, и можно было принять его за бродячего торговца. Поставит себе где-нибудь в укромном местечке у моря палатку и живет там в тесноте и грязи, а все же к концу месяца его было не узнать. Красные жилки в глазах исчезали, и сам он становился пободрее, и, когда приходило ему время уезжать, нам уже было жаль с ним расставаться, и мы скучали по нем, и радовались, что на будущий год можно будет снова его поджидать. Где-то у него была жена, но только она с ним никогда не приезжала, да и дети тоже. Он о них мало вспоминал. В Бога он не верил. Тут у нас об этом много говорили и очень его жалели. Особенно по воскресеньям, когда он сидел один на холме и смотрел, как народ от обедни расходится.

Мне он стал другом. И чего это я пишу о нем в прошедшем, сам не знаю, – оттого, верно, что писание мне так туго дается. Он и по сей день мне друг, и если б не он, так разве стал бы я писать все это, когда у меня от натуги пальцы сводит и пот на лбу проступает?

У меня лодка есть, вот он и зачастил со мной в море ходить. Я ему всегда только рад был. Когда он по-нашему лучше научился понимать, стали мы с ним много о чем разговаривать, пока я свои лески закидывал. Ну а прошлым летом затеяли мы эту канитель, почему я сейчас, зимой, таким делом и занимаюсь.

Колмэйн, – это он мне говорит, – вот ты человек верующий. С чего же это ты веришь, что Бог есть? Я даже обалдел. Есть вещи, которые знаешь наверное, и есть вещи, которые наверное не знаешь. Есть и такие вещи, о которых вовсе не станешь говорить. Есть вещи, которых ни на одном языке не выразишь, даже если бы все языки на свете знать. Да просто знаю, говорю.

Ты ж не дурак, говорит он. Неужели же то, во что ты так твердо веришь, столь шатко, что ты людям о нем рассказать не можешь? Ты мне голову не морочь, Пол, сказал я. Вера – это редкостная драгоценность, сказал он, вроде как жемчужина в морской раковине. Как же ты эту драгоценность обнаружил? Почему не дашь мне взглянуть на нее? Или боишься, что от моего взгляда она в песчинку обратится?

Да где мне слова взять, говорю я. Я человек простой.

Мне слов не занимать стать, сказал он. У меня их миллион наберется. Все они на бумаге записаны. Я мог бы комнату завалить книгами, в которых они увековечены, а что в них проку? Тут он распрямился и стал мне пальцем грозить. Подавай мне свои слова, говорит. Вот что я тебе скажу. Зима длинная. Зимние вечера долгие. Работы зимой у тебя мало. Перед отъездом я дам тебе белой бумаги, и пиши на ней, как Бог на душу положит. Так и зиму проведешь. Ты мне напишешь, Колмэйн, почему ты такой, какой ты есть. Ты напишешь письмо мне, писателю, которого ты называешь Пол и которого на самом деле зовут Поул. Сделаешь ты это для меня?

Я посмеялся над ним.

Куда же это? Ты на мою руку посмотри. Это же не рука, а окорок какой-то. Не положено такой рукой перья держать. Перья – это для холеных пальчиков. Не для такой ручищи эти дела. Насмешил ты меня.

Он тогда снова откинулся в лодке. У меня есть в запасе еще две недели, сказал он. До самого отъезда я буду тебе свое долбить, пока ты не согласишься сделать по-моему. Что-что, а уговаривать я умею. Ты меня, пожалуй, скорее уговоришь со скалы броситься, сказал я, как отрезал, чем на такую штуку согласиться.

Ладно, Колмэйн, закидывай свои лески, сказал он, все равно твоя судьба решена и подписана.

Вот и все мое пояснительное слово. Теперь уж сами рассудите: я ли тряпкой оказался или это Пол такой мастер на уговоры. Сейчас у нас зима. Ночи длинные. Ох и трудно же мне! Я себе языком, как могу, помогаю. Жена говорит, жаль, говорит, Колмэйн, что нельзя тебе вместо пера языком писать. Но я так или иначе пишу, черт бы все это побрал заодно с человеком, который меня в это дело втравил. Я начну, а если и не кончу, так тоже потеря не велика, а я по крайней мере долгие вечера скоротаю. Но какая тебе, Пол, от всего этого радость, хоть убей, не вижу.

Понедельник

Я, Колмэйн Фьюри, умею своими руками табуретку сколотить, или там стол обеденный, или кровать спальную. Много что я умею сделать своими руками, потому что нужда заставила научиться, а вот когда засадили меня историю своей жизни писать, так я и не знаю, с какого конца взяться. Но раз уж Сам Господь Бог начал работу с понедельника, так и я с него же начну. Ведь говорят же старики: все, что судьбою положено, случается в будние дни, потому что воскресенье Бог создал, чтобы дать человеку покой и отдых.

Вот я и подумал: что из того, что случилось со мной, было для меня важно и что не важно. И вижу, что важное всегда случилось в будние дни. С вашего позволения, так я и сделаю. Я знаю, что люди рассказы свои делят на части и называют их главами, но я такой премудрости не обучен и боюсь, что только зря напутую. История моя не больно интересная. Да я б ее в трех словах мог рассказать, разговаривай я с глазу на глаз и знай я нужные слова. Но Полу это не понравится. Ему это покажется мало. Он как заведет свое, как заведет, и придется мне заново все переделывать. Потому раз уж я за это взялся, так постараюсь сделать на совесть, как если бы я делал, скажем, кухонный стол, – выбрал бы дерево, и выстрогал бы его, и выточил бы ножи, и вставил бы их в пазы, и перекладинами б их связал, и потом уже сверху крышку набил.

Вся моя жизнь прошла на море. Остров наш невелик. Умещается на нем человек сто, и земли на каждого не то чтоб в изобилии, но хватает – хорошей, плодородной земли, чтоб было где картошку посадить, да овса посеять, да коров пасти, – да еще по скалам растет жесткая трава, овцам в самый раз.

В тот понедельник мне исполнилось четырнадцать. Это день моего рождения был. Оттого я так насчет понедельника и запомнил. Стукнет тебе четырнадцать – и прощайся со школой. Можешь радоваться. Теперь, тридцать лет спустя, вижу я, что радоваться-то было нечего. Надо было мне в школе побольше за книжками сидеть. Знал бы я теперь английский не хуже людей, и не было бы мне совестно на нем разговаривать. И мог бы я беседовать с Полом запросто на его родном языке. И книги мне тоже легче было бы читать – не пыхтел бы я над ними, как теперь. Да чего там жалеть! В тот день у меня голова от счастья шла кругом. Я лежал на зеленой травке на вершине скалы; к ноге у меня была привязана леска. Я удил сайду. Крючок с наживкой болтался где-то футов на сто ниже, среди подводных камней. Каждый раз, как клевало, леска начинала резать ногу, и я вытягивал рыбу. Был конец лета. Небо было синее, и воздух горячий. Но только небо было будто тюлем затянуто, так что синева виднелась словно сквозь дырки. Чаек разморило. Они расселись на скалах и на траве, как жирные утки. Только время от времени встрепенется какая-нибудь из них, полетит над морем, высматривая, что б ей сожрать. Меня начало беспокоить, чего это леска все не режет ногу. Я ее выбрал немного, чтобы проверить наживку. Все было в порядке. Рыбе следовало бы клевать. Но она не клевала. Я снова спустил леску. В чем, думаю, дело? Море было тихое, гладкое, как зеркало, и только заплески тихонько так набегали на берег и откатывались назад. Полагалось бы рыбе клевать. День был – лучше не придумаешь. Между мной и материком пролегло шесть ирландских миль воды. Берег материка был как в тумане. Потом я глянул в открытое море. Помню, мне пришлось еще глаза заслонить – очень уж вода слепила. Сощурившись, я мог разглядеть далеко-далеко в море лодки с нашего острова: маленькие такие, черные, продолговатые крапинки, которые словно повисли между небом

и морем.

Если мне не было удачи, то, может, хоть им была. Я перевернулся на живот и стал смотреть на них. Там и отец мой был, и два брата. Я подумал, какие они все-таки счастливые. И когда только отец приспособит меня к рыбной ловле! Я всей душой рвался рыбачить в откры-

том море. Мой средний брат, Тирнен, вечно издевался надо мной. Иди-ка ты к курам, Колмэйн, скажет, бывало. Тут я впадал в ярость. Я кидался на него, и он клал руку мне на голову и не давал приблизиться, так что я только даром кулаками махал, и смеялся надо мной, пока наконец вся злость моя не пройдет.

Работа для девчонок! У нас сестер не было, так что мне волей-неволей приходилось матери помогать: выгонять скотину, доить коров, рубить капусту свиньям в корм, в поле ей помогать. Чудо, как пахла на солнце скошенная трава, и мать всегда приносила с собой в корзинке, накрытой белой тряпчочкой, что-нибудь лакомое, и мы славно завтракали в поле. Она учила меня ворошить сено, и ровнять его, и сгребать в копны, и все время она напевала песни, которые знала еще от своей матери. Хорошая была у меня мать. В душе я был доволен, исполняя всю эту не так чтобы очень почетную работу, – ведь делал-то я это для нее, и для меня было достаточной наградой, когда она улыбалась, или клала мне руку на плечо, или пекла мне маленькие сладкие пирожки с изюмом. Так-то оно так, а все же мне хотелось тянуть сети с бьющейся в них рыбой, вдыхать запах дегтя и рыбьих кишок.

Я смотал свою леску. Эдак все равно ничего не наловишь. Лучше уж сходить да накопать картошки к ужину. Отец и братья вернутся домой голодными. Тогда мать вывалит прямо на стол котелок горячей, выпирающей из кожуры картошки и подаст свежей вареной рыбы. От таких мыслей мне даже есть захотелось. Я еще, помню, подумал, спускаясь со скалы, до чего же на нашу деревушку посмотреть приятно, когда солнце светит на нее вот так, словно сквозь дымку. Солому почти на всех крышах сменили не далее как в прошлом году и домики побелили на радость дачникам. Золотом колосился овес, а отава на скошенных лугах была зеленой-зеленой. Это был мой дом, и другого мне было не надо.

Порыв ветра налетел на меня с моря, и мне стало холодно. Как сейчас, помню. Среди жаркого дня пронзительный холодный ветер – с чего бы это? Потом его пронесло, и все осталось как было. Ничего я не наловил, сказал я матери. Никогда из тебя рыбака не получится, посмеялась она. А вот и получится! сказал я. Я буду первым рыбаком на весь остров. Пойди-ка лучше картошки накопай к ужину, сказала она. Она была рослая. Волосы у нее были каштановые. Лицо загорело на солнце. В волосах ни седины. А зубы белые, как у молодой девушки, и держалась она прямо.

Я взял корзину и пошел по картошку. В тот год картошка уродилась хорошая, крупная, чистая, без пятнышка, редко-редко попадалась порченная. Я копал осторожно, стараясь не ранить клубней лопатой. Отец всегда подсмеивался надо мной, если ему попадалась картошка с надрезом. О-хо-хо, говорил он тогда, опять Колмэйн картошке кровопускание устроил! Нельзя поручать мальчишкам мужскую работу. С таких слов я не знал, куда от стыда деваться. Я успел набрать с полкорзины, вдруг смотрю – все кругом потемнело. Память меня не обманывает. В одну минуту ясный день сменился темнотою. Я не знал, что и думать. Решил, что, может, померещилось это мне. Но нет, какое там! Стало темно, как ночью, и с моря пошел протяжный вой. Я перепугался. Я оперся о лопату и тут же отшвырнул ее прочь – боялся, что будет гроза и железо притянет молнию. Все вокруг померкло и затихло. Я взглянул себе на руку. В этом чудном освещении она цветом напоминала давленную чернику. Потом меня ударило ветром. Страх, какой это был ветер. Он меня совсем к земле пригнул. И тут хлынул дождь и за ним град. Хотите верьте, хотите не верьте. Жаркий день, а потом лютый холод, холодный ветер и град. Когда я бежал домой, мне пришлось прикрывать уши руками, так их колотило градинами. В деревне стояла тьма. Я видел людей, стоящих на порогах домов. Я слышал, как хлопают двери и плохо припертые калитки. На бегу я заметил, что люди мне что-то кричат, но ни слов, ни даже голосов не было слышно – уносило ветром.

Мать стояла в дверях. Ох, Колмэйн, Колмэйн! встретила она меня. Она втащила меня в дом. Мы закрыли дверь, чтоб та не хлопала. В кухне было темно. Мы посмотрели друг на друга при свете очага. Глаза у нее были большущие. Мы слушали, как ревет за стеной ураган. Нам

было страшно. Мы не говорили о том, что было у каждого на уме: отец, и братья, и лодка, и все остальные рыбаки. Может, скоро пронесет. Скоро не пронесло. Казалось, этому не будет конца.

Ветром их будет гнать к берегу, сказал я и шагнул к деревянному крюку за непромокаемой шляпой и плащом. Куда ты? спросила она. Куда ты пойдешь, когда такое творится? Нужно, сказал я, на пристань. Они вот-вот подойдут. Я помогу им закрепить лодку. Нет, Колмэйн, сказала она. Нет, не ходи! Я должен, мама, сказал я. Она пробовала держать меня, но я не остался. Я еле закрыл за собой дверь, так ее рвало ветром. Я пошел к пристани, которая загораживала у нас часть маленькой бухты, так что там могли укрываться лодки. Не я один. Другие спешили туда же – мальчишки, старики, кое-кто из женщин. Мне приходилось цепляться за скалы, чтоб меня не унесло ветром, как соломинку.

Все мы на пристани сбились вместе. На море было страшно смотреть. Оно было похоже на кастрюлю с кипящим молоком, разбавленным чернилами. У меня сердце упало, когда я его увидел. Все же и лодки были добрые. Все на три пары весел, устойчивые. Я пошел прочь с пристани. Слышал, как меня зовут назад, но не обернулся. Я двигался ползком против ветра. Иначе нельзя было. Пришлось встать на четвереньки и ползти, а ветер с дождем так и хлестал, так и хлестал меня. Иногда мне удавалось спрятаться за грядой скал, и тогда я делал перебежку под их прикрытием. Так я добрался до места, откуда видно было открытое море. Здесь меня защищали громадные серые, поросшие мохом скалы, и я мог видеть, что делается на море и внизу, на самом берегу. Волны были страшные. Они вздымались у меня над головой и с несусветным грохотом разбивались о каменистый берег. Они светились каким-то диковинным светом. Они были везде, куда только хватал глаз, а за ними – черное-черное небо. Посмотрел я на них, и стало мне тошно, и, Боже мой, до чего я перепугался! Я даже стал молиться. Господи, сказал я, ты наслав бурю, так спаси же и сохрани моих близких.

Я уже не разбирал, ночь ли была, день ли. Я остался там, примостившись среди огромных серых скал. Надо было мне пойти назад, к матери, – теперь-то я понимаю, – но я не пошел. Я остался там и уснул, как ягненок, нашедший наконец приют. Проснулся я от тишины. Руки и ноги занемели. Когда я расправлял их, они трещали в суставах. Я промок до нитки. От каждого движения по всему телу бежали мурашки. Светало. Об этом я догадался по светлой полоске на востоке, где вставало солнце. Значит, буря бушевала со вчерашнего дня. Сейчас она улеглась. Небо более или менее расчистилось. Ветер более или менее стих. Я пошел назад, к пристани. Там собрался народ. Я только глянул на них и сразу все понял. Лодки не вернулись. Ни одна из шести. Да они и не могли вернуться. Значит, они где-то в укрытии. А как же иначе?

Я побежал домой. Стукнула щеколда, и мать повернула ко мне лицо. Она стояла на коленях. С тех пор как я ушел копать картошку, лицо ее переменялось. Ох как переменялось!

Они, наверно, где-то переждали, сказал я. Они, наверно, где-то переждали. Она сжала губы и покачала головой. А потом подняла руки и длинными пальцами закрыла лицо. Я опустился рядом с ней на колени. Обнял ее.

Мама, сказал я. Ох, мама, наверно, они где-то переждали! Как сейчас, помню. Это был первый раз, что я видел свою мать беспомощной, и я, четырнадцатилетний мальчишка, старался утешить ее, как умел.

Они не вернулись. Ох, Пол, не вернулись они живыми! У волнолома нашли обломки лодок – мусор, выкинутый морем.

А Тирнена я нашел. Я нашел его на берегу, там, где сам прятался от бури. Он застрял между скалами, лицом в песок. В светлых его кудрях запутались водоросли. Он будто улыбался. На щеке у него был синяк. Никогда мне не забыть, как я нашел своего брата Тирнена. Иной раз я думаю, прости меня, Господи, может, лучше было бы, если бы и Тирнен остался в море, вместе с отцом и братом Патриком, потому что, когда мы принесли его на доске домой, это, по моему, мою мать доконало. Она не запричитала, не завывала, хотя по всему острову плач стоял по покойникам. Она – нет. Она не заплакала. Она внесла его в дом, и раздела его, и обмыла,

так что на нем и следов моря не осталось, и уложила его на отцовскую кровать в зале, и ни на отпевании, ни на похоронах, ни на поминках она слезинки не проронила.

Я-то плакал. На всем острове нет такого места, которое я не полил бы слезами, прячась от людей, со дня на день ожидая, что вот-вот волны выбросят на берег тела моего отца Колма и брата Патрика. Но Бог миловал – они так и не вернулись домой. Видел я после много утопленников, которые не одну неделю проболтались в море, рыбой и крабами попорченных, и никому не пожелал бы я увидеть их. Отец и брат не вернулись. И, думая о них, я представлял, что сейчас они колышутся там, на дне морском, как водоросли, чтобы восстать по зову Господню из глубин океана целыми и невредимыми, так что радостно будет нам их увидеть.

Может, и мать бы так думала, если б не вернуло нам море Тирнена. Потому что те-то все умирали быстро, раз, два – и готов, запутавшись в сетях, захлебнувшись морской водой. Мать же моя умирала три года. Три года умирала она у меня на глазах, и смотреть на это было не больно-то весело.

Понял я, что такое любовь. Понял, что любовь может свести в могилу. Я вспомнил отца и мать, когда они были вместе. Посмотреть на них, так и не скажешь, чтоб они и любили-то друг друга. Была их любовь скрытая, без лишних слов. Потому что простые люди всякого такого себе не позволяют. Нам совестно смотреть на дачников, когда они ручки жмут да целуются при свете дня на глазах у всех. У родителей моих любовь сказывалась в шуточке, во взгляде, а то и в перебранке. Но только когда отца не стало, понял я, что никто на свете ей больше не нужен.

Даже я.

Чего уж там скрывать. Мне это обидно было. Один только раз я сказал ей об этом.

Может, говорю, ты бы хоть ради меня пожила, ради своего последнего сына. До сих пор об этом жалею. То слабость была. Правда, заплакала она, пролила слезы, что так долго в себе копила, да только ничего хорошего из этого все равно не вышло, потому что мысли ее были не здесь.

Потому-то я и люблю вспоминать ее такой, как она была в тот день, когда я картошку копать домой прибежал.

Потому что больше уж я ее такой не видел. Мне восемнадцатый шел, когда она померла. Три, значит, года. Ее было не узнать. Волосы потускнели, зубы не были белыми, как прежде, румянец пропал, спина согнулась. Между прочим, и она тоже умерла в понедельник. Понимаешь теперь, что я хотел сказать, когда говорил, что все важное обязательно в будние дни случается?

Было, значит, мне семнадцать лет, и был я один-одинешенек. Не было у меня ни отца, ни матери, ни брата, ни сестер.

До четырнадцати лет я смеяться с утра до ночи готов был. Видно, счастливо мне жилось. Я и проказил, как полагается мальчишкам, и бранили меня вдоволь, и отцовскую руку не раз случалось мне на себе испробовать. Тяжелая у него была рука. Будто доской тебя огреет.

У меня был пустой дом, и шесть акров земли, и корова, и два теленка, и свинья, и куры. Но не было у меня семьи и не было лодки.

И все это стряслось со мной в понедельник.

Вторник

Несуразные вещи страх с людьми делает. Страх, как говорится, превращает мужика в бабу. Я с этой поговоркой не согласен. Мне, например, думается, что иной раз женщины похрабрей мужчин бывают. Но из мужчины тряпку сделать они умеют. Только это уж другой разговор. Были мы все тут, на острове, мореходами, а теперь от земли ни на шаг. И все от робости да страха, который нагоняли причитанья женщин, до смерти перепугавшихся моря. Тошно было смотреть, как страх расползлся по нашему острову. Лодок не строили. В море никто не выходил. Только и ели мы рыбы, что ребятишки с берега наловят. В каких-то землешках превратились. А чего тут хорошего, когда земли в обрез? Вот молодежь и начала разбегаться. А что им оставалось? Удаль свою на море не испробуешь. Рыбным промыслом кормиться нельзя. Вот они и стали разъезжаться кто куда, искать, где бы им с судьбой силами помериться. Человек ведь иначе не может. Для того он на свет родится, чтоб себя в полную силу показать. А без этого чего и жить-то?

Женщин я тоже не виню. Если тебе приносят домой ногами вперед мужа или брата, а то и обоих, и если у тебя сын растет, который может тем же кончить, так, ясное дело, тебе не захочется в море его отпускать. Это всякий поймет. Боялись они моря. И это тоже понятно.

Но я-то моря не боялся. Я возненавидел его. Оно мне заклятым врагом стало. У меня теперь не было матери, у которой я мог бы страх прочесть в глазах, которую я, пожалев, послушался бы. И я решил идти на море войной. Теперь-то мне самому смешно, но тогда я не на шутку об этом думал. Мысль, конечно, была завиральная, вроде как если бы кто затеял всех до одного комаров на свете одним махом доской прихлопнуть. Запала мне эта мысль на сердце не сразу. Надумал я ее, когда мне уже ближе к восемнадцати было, и так она мной завладела, просто покоя я себе не находил. Тошно мне было смотреть, как разъезжаются ребята. После каждых проводов в Америку я все злее становился. Я своими мыслями со стариками делился, но они только головами покачивали, молчали. Им что? Они свое уж отработали. Сидят себе на табуретках у очага, табак пожевывая. Тихонько свой век доживают. Я твердо решил, что я этого так не оставлю. Пусть мне никто не помогает, все равно – буду бороться, как сумею. И что с морячками нашими сделалось? Куда подевался задор былой? Только и хватало храбрости в тихую погоду на барже для перевозки торфа на материк переправиться, чтоб какую-нибудь живность на рынке продать да на вырученные деньги припас закупить. Я прямо из себя выходил: где это видано, чтобы на поездку за шесть миль на грязном, неказистом торфянике наши островитяне смотрели как на опасное мореплавание!

Перво-наперво я вот что сделал: раздобыл себе прочную веревку и конец ее – несколько ярдов – парусиной обмотал. Потом я кликнул Томаса, дружка своего. Мы с ним в школу еще вместе бегали и немало вместе шкодили. Отец его и брат тоже погибли в ту бурю, только их тела потом нашли и похоронили на песчаном погосте у церкви и сверху каменное надгробие поставили. А другие два его брата уехали. Остался один Томас, да две сестры, да мать, да бабка. Так что жил он среди женщин и совсем с ними оробел.

Я говорю, Томас, говорю, пошли со мной, дело есть.

Он говорит: куда это мы с веревкой пойдем? Корова у тебя, что ли, в болоте увязла или со скалы сорвалась?

Нет, говорю, идем со мной. Он и пошел. Я привел его на дальний край острова, к маленькой бухточке. Никто сюда никогда не заглядывал. С обеих сторон ее скалы огораживали, невысокие такие. Вода тут всегда тихая, как в пруду. И даже в отлив глубоко. Дно песчаное просвечивает, и вода зеленая, как кошкин глаз. Пока он на меня смотрел, я разделся догола и обвязался веревкой. Ну-ка, поддержи за конец, говорю Томасу да как прыгну в воду! Я это по злобе на море сделал. Я не умел плавать. Видал я, понятно, как собаки плавают, и рыба,

и лягушки или там дачники. Ну а рыбакам плавать не положено. Не знаю почему. Говорят, чтоб судьбу не испытывать. Я в эту примету не верил. Я забарахтался, стал колотить руками и ногами, решив, что поплыву во что бы то ни стало, а подо мной футов тридцать глубины было. Где-то я читал, что тело – это есть бутылка, а рот – отверстие, которое пробкой затыкается. Если пробку вынуть, бутылка потонет. Если бутылка заткнута, она не потонет. Я вдохнул побольше воздуха, сжал рот и погрузился в воду; и верно: погрузился я всего лишь по нос, а потом меня вытолкнуло кверху, как бутылку. Тут я на радостях как заорю! И выпустил весь воздух, так что, если б Томас не нашелся и не потянул бы веревку, я б, пожалуй, ко дну пошел. Я ликовал. Я чувствовал, что у моря первый кон выиграл. Томас теперь тоже смеялся. Ему эта затея понравилась, и он держал веревку, пока я работал ногами и руками то по-собачьи, то по-лягушечьи. Через три дня я уже прыгал в свою бухту без веревки и плавал там почем зря. Вид, я думаю, у меня был неказистый, но я мог держаться на воде и передвигаться в ней, и когда я вылезал на скалы, и прыгал в воду, и снова вылезал, и снова прыгал, мне казалось, что я одержал великую победу. Слушай, Томас, смеялся я, море ж – всего-навсего вода, а мы как-никак мужчины. Слышишь, ты? Понимаешь мое настроение? Правда, не сразу, но уговорил-таки я Томаса попробовать, и теперь я держал веревку, пока он тоже не научился плавать. Так что видишь, теперь уже мне казалось, что я не одну, а две победы одержал. В тот день, когда у Томаса дело на лад пошло, я стоял на скале голый и орал морю: видало? Нашлись-таки двое настоящих мужчин, с которыми ты так легко не справишься! Нашлись-таки двое настоящих мужчин, которые видят, что ты – вода и больше ничего, что тебя саму ветер гоняет за милую душу. Уж нас-то ты голыми руками не возьмешь.

Томас решил, что я рехнулся, но он был рад, что я заставил его выучиться плавать.

Заберешь ты что-нибудь себе в голову и лезешь из кожи вон, чтобы своего добиться, а чуть добился, тебе уж этого мало. Тебе уже еще чего-то надо. Мало уже того, что достиг. Теперь оказалось, что у меня душа лодки просит. Можно было бы, конечно, лодку купить. Правда, денег у меня скоплено было маловато, но уж как-нибудь купил бы. Много лодок без дела на песке валялось. Страх людской эти лодки точил. Я много их пересмотрел. Почти все они были большие и ремонта немалого требовали. Но я-то был один. Как я мог с такой управиться? Парусиновую лодку, байдарку на одного человека, мне и даром не надо было, потому что далеко на такой от берега не отойдешь. Я мечтал о своей собственной лодке, которую я б в своем уме выносил, своими руками сделал. Вон чего захотел! Да, вот она, молодость!

Неподалеку от пристани стоял старый, покосившийся сарай из древесной коры, с просмоленной крышей. На двери его висел замок. Я пошел к Муртагам. Дома был только старый Фионан. Он был старый-старый. Он еле ходил, так его от ревматизма скрючило. Суставы на руках распухли и болели. Мне бы ключ от старого сарая, сказал я. Дал бы ты его мне, я б тебе спасибо сказал. Долго он на меня смотрел. Глаза у него были синеватые, старые, но, если приглядеться, они уже такими старыми не казались. Он плюнул в огонь. Плевков был классный. Оттуда, где он сидел, до очага было не аршин и не два. Он этим был знаменит. А чего ты в сарае не видал? спросил он. Я тебе сейчас этого не скажу, сказал я. Посмотрю сначала, а потом скажу. Он снова плюнул. Ключ за дверью, сказал он после того, как плевков благополучно вцепился в горящий торф. Эту дверь не отпирали знаешь с каких пор? Я знал. С тех пор, как Фиарач и Торми Муртаг не вернулись с моря. Только смотри, чтоб жена Фиарача не видела, что ты в сарай пошел, сказал он. А то она мне такую баню устроит, что только держись, а мне помирать пора, и я хочу, чтобы меня в покое оставили. Тут он и правду сказал, и неправду. Баню-то она ему, понятно, устроила бы, но умирать ему было так же пора, как старому дубу, что у озера и по сей день стоит.

Сердце у меня стучало шибко, когда я отпер дверь. Я затворил ее за собой. Свету сюда и так достаточно попадало в щели между кусками коры и через два раскрытых окна. Сарай весь зарос тенетами. На полу все еще валялась стружка. Тут же, закрепленная на станке, стояла

начатая когда-то и недостроенная лодка – только киль да изогнутый нос. Лесу тоже оказалось немало. Я осмотрел его. Тонкие листовенничные доски, которые оставалось только согнуть. Был и инструмент: тесла, рубанки, стамески, деревянные молотки. Обидно мне стало, прямо хоть плачь. Мальчонкой я из этого сарая не вылезал. Все смотрел, как Муртаги лодки строят. Они мне часто разрешали самому вбивать корабельные гвозди. А теперь? Только ветер гуляет да паутина раскачивается. В запустенье пришел сарай. Я вспомнил Фиарача и Торми. Они не вернулись. Были они оба тихие да добрые, как почти все, кто с деревом работает. Никто от них слова дурного никогда не слышал.

Я вышел на улицу. Запер за собой дверь. Опять пошел назад, к Муртагам. Повесил на место ключ. Потом сел напротив деда. Лодку хочу построить, сказал я ему. Он вылупил глаза. Это ты-то? сказал он. Куда тебе! Не видал еще свет такого Фьюри, который хоть гроб-то фанерный когда-нибудь сколотил, а ты туда же – лодку строить. А кто мне ее построит? спросил я. Ты, что ли? Он поднял руки. Этими-то уродами? спросил он. Да когда меня всего от старости в три погибели согнуло? Ты когда-то большим мастером был, сказал я. Люди говорят, что такую форму лодке придать, как ты, никто другой на всей нашей земле не сумел бы. Говорят, ты лодки кроил, как портной штаны. Что правда, то правда, сказал он. Только ушло то времечко. И времечко ушло, и лодки, которые я строил. Где они, эти лодки? Только и осталось от них, что гнилые, червями источенные обломки, которые море то там, то сям на берег выкидывает, а дачники в кострах на потеху жгут.

Я хочу по-своему построить, сказал я. У меня деньги есть, я тебе хорошо заплачу за лес, что в сарае лежит. Я инструмент отчищу и буду им пользоваться, и за это я тоже тебе заплачу. И за пользование сараем заплачу. Если ты на это пойдешь, я лодку построю.

Он засмеялся. Зубов у него осталось мало, но он их все до одного мне показал. Вот спасибо, Колмэйн, сказал он, что меня распотешил! Я так с той самой бури не смеялся. Чтобы Фьюри лодку строил! Да у нас все кошки со смеху пропадут. Так, пожалуй, и без кошек останемся. Вашим бы деньгигодились, сказал я. Пригодиться-тогодились бы, но и без них обойдутся. Ты как думаешь, захочет жена Фиарача тебя в сарай пускать? Нет, сказал я. А тебе нравится, что все молодые ребята с острова разбежались? Трусы! Бабы! Сапожники! Тряпки! разорался он. Лицо у него стало сердитым. Ну а кто все-таки хозяин сарая, и леса, и инструмента? спросил я. Он посмотрел на меня, склонив голову набок. Я, говорит. Я от своих прав пока еще не отказывался. Так ты что, жены Фиарача испугался, что ли? спросил я. Знал я, как его поддеть. Это я-то бабы испугался? Дед он был страсть какой норовистый. Сдается мне, что так, сказал я. Он совсем распетушился. Чтоб черт тебе в суп на... пожелал он мне. Ну, так дашь ты мне попробовать или нет, Господи Боже мой? спросил я. Что ж, сказал он, может, и стоило бы поглядеть, как какой-то Фьюри пустится в море, усевшись в корыто, в бочку, в деревянную посудину, которая будет посмешищем на все семь приходов. Да только разве море мне такую обиду простит? Зато ты хоть в другой раз посмеешься, может, это тебе даже жизнь продлит. Ей-богу, продлит, сказал он. По крайней мере мне хоть жить для чего будет. Ну что ж, бери сарай, и инструмент, и лес – и за дело. Смотри только, чтоб ангелы в небе животы со смеху не надорвали.

А я хитрый был. Я решил, что какую-никакую, а лодку я себе построю, но я подумал, что старику профессиональная гордость не даст в сторонке стоять, что, может, он все-таки указания мне будет давать. Я тебя насквозь вижу, сказал он. Ты думаешь, я хоть и полумертвый, а туда притащусь и плодами своего ума с тобой делиться стану? Не-ет, Колмэйн, сам управляйся. Я к сараю ближе, чем на три плевка, не подойду. Я жене Фиарача и матери Торми душу бередить не намерен. Будь покоен. Ну ладно, пошел прочь, и чтоб глаза мои твоих дурацких выдумок не видели. Может, даст Бог, раньше помру, чем так опоганюсь. Чтоб Фьюри лодку строил! Он лихо плюнул.

Я ушел от него, но на душе у меня светло было. Все-таки кой-чего добился.

Я отворил дверь сарая настезь и отмыл его от многолетней грязи. Я разогнал пауков, обмахнул тенета, отчистил инструменты, и наточил их, и свел с них ржавчину. Можно было приступить к работе. Мне нужно было укоротить уже готовую килевую балку. Была у меня на уме лодка с коротким корпусом, и с тяжелым килем, и крепким носом, и широкой кормой. И еще я решил, что поставлю мачту для одного паруса. Я знал, что мне нужно. Но, мать честная, до чего же трудно было все это мастерить! Никто к сараю близко не подходил. Все только издали на меня поглядывали. Я себя среди них чужим начал чувствовать. Даже Томас меня сторониться стал. Можно было подумать, что я могилы их родных оскверняю. Мне хотелось сказать им, что это они зря так понимают. Я хотел сказать им, что мертвые в своих могилах радуются, что нашелся молодой парень, который собирается в море выйти. Куда там! Один только человек и отважился ко мне подойти. Священник наш молоденький.

Господь с тобой, Колмэйн, что это ты затеял? спрашивает. А я злой был. Лодку, эдак громко говорю ему, строю. А он смотрит на меня и улыбается. Ну что ж, говорит, в добрый час, если от тебя самого что-нибудь останется к тому времени, как ты ее кончишь. Тут уж и я улыбнулся: руки у меня были все в ранах – старых ранах и свежих, забинтованных, и таких, которые следовало бы забинтовать. Даже ногу я умудрился поранить – стамеской себя саданул. Я эту чертову лодку выстрою, говорю я ему, хоть бы у меня ни ног, ни рук не осталось. Молодец, говорит. Когда кончишь, я ее тебе освящу. Если мы оба до того доживем, сказал я. Посмеялись мы с ним, и он ушел. Но у меня с того разговора от сердца отлегло, и я взялся за работу – начал шпангоуты пригонять.

После этого дела мои на лад пошли. Томас наведался посмотреть, как я работаю. Он надо мной посмеялся, но, между прочим, подержал мне доску. Все теперь надо мной потешались. Им смешно было, что какой-то Колмэйн – и вдруг лодку строит! Что до меня, то я смотрел так: пусть лучше смеются, чем думают, будто я их обидеть хочу.

Фионан держался долго. Я, понятно, в душе на него большую надежду имел. Но вот как-то поднимая я глаза от своего непутового детища и вижу: стоит он, скрюченный, как боярышник, и свирепый, как старый бугай.

Он, понятно, возвел глаза к небу и обошел кругом мое сооружение. А это, интересно знать, что такое? Ты что, корове стойло строишь или поросятчий загон? Или, может, это крысоловка какая или просто тележка ослиная? Или что там еще? Только не говори мне, Христа ради, что это настоящая лодка, которую можно на воду спустить. Клюкой своей он перetyкал все шпангоуты и некоторые из них расколол. В два счета он уничтожил то, над чем я неделями трудился. И на минуту я так озверел, что, кажется, мог бы его молотком ударить. Но не ударил. Смолчал. А он продолжал бушевать. Тут, мол, надо было вот так сделать, а там – вот эдак, и где у меня вообще голова была, и всякое такое. Я на него тоже разок цыкнул, а потом рассказал, какую лодку в мечтах имею. Он охаял ее, осмелял, освистал, но кое-какие указания все же сделал. Сам он о такого уroda рук мараить не станет, но чтоб святого дела кораблестроения не посрамить, сделай, мол, то-то и то-то. Иначе Бог знает, что потом о нашей деревне люди говорить станут.

Если правду сказать, то построил лодку он. Я только руками работал. Но лодка была моя. Я ее задумал, и он не отрицал, что это моя лодка. Какая бы она ни была плохонькая, он-то знал, чего мне стоило ее построить, когда все были против меня. Каждая стружка, снятая с доски, каждый забитый гвоздь – все, все была моя работа. Я ее задумал. Я ее сделал. Но форму-то придал ей он. А как же иначе? Так что уже много времени спустя кто-нибудь нет-нет да посмотрит на нее и почешет в затылке: вот чудеса, лодка-то эта никак Муртага работы! Ну вот, значит, достроил я ее, выстрогал мачту, оснастил, балласт заготовил, парус сшил.

Моя лодка. И я буду ходить на ней в море.

Она стояла проконопаченная и просмоленная, готовая к спуску на воду. Я столкнул ее вниз по склону. Когда она легла на воду, у меня в груди дыхание сперло. Боялся, потонет

она, что ли? Нет, не потонула. Она качалась на волнах, как морская птица. Ошвартовав ее, я вставил мачту и укрепил ее стальным болтом. Я отнес на нее весла с узенькими лопастями, а потом, утехи ради, приладил парус и поднял его. Лодка моя была прямо как молоденькая лошадка, грызущая удила. Несколько человек поглядывали на меня с берега. Видно, поэтому и захотелось мне покрасоваться. Томас был у пристани.

Отдай концы! скомандовал я ему.

И думать не могли; в такую-то погоду! попробовал было он меня удержать. А стоял февраль. Ветер налетал порывами, и на море было беспокойно. Эх, лучше б он мне этого не говорил! Не скажи он этого, я б, может, и остался. Будь тут Фионан, он бы только посмотрел на меня презрительно, и я, пожалуй, и остыл бы. А тут меня будто нарочно подзадоривали – я-то ведь еще мальчишкой был. Ну, я возьми да и крикни: отдай концы! На берегу зароптали. А я свое: ну, ну, давай, Томас, тебе говорят! Он тогда нехотя так отдал концы, и я направил лодку в море. И, Боже мой, как ветер ее подхватил, да как пригнул мачту к самым волнам. Я уж и сам не рад был, что вышел. Я и не заметил, что ветер такой сильный. Лодка шла ему наперерез. Мачта скрипела. Если курса не менять, меня в два счета на материк выбросит. Я подтянул парус и поставил лодку против ветра. Поворот сошел благополучно. Я мог гордиться ею. Она шла навстречу волне в открытое море, рассекая воду мощной грудью. Я промок до нитки. Мне было смутно видно, как на пристань сбегаются люди, распирало от гордости. Вот где я им покажу, что моря бояться нечего! Вот вам, смотрите, пожалуйста, – нашелся-таки парень, который не побоялся один в жалкой лодчонке выйти в море! Сквозь вой ветра до меня доносились голоса. Мне некогда было прислушиваться, что это они там кричат, потому что, как оказалось, дела-то своего я толком не знал.

Никогда я раньше в море под парусом не ходил, если не считать парусов, что мастерят на скорую руку из любой тряпки и нацепляют на байдарки при слабом ветре. Об остальном я только мечтал. Отцовская лодка была гребная, на три пары весел. Они обходились без паруса, потому что никогда не заходили в море больше чем на десять миль. Мне и не снилось, какую силу может набрать при крепком ветре кусок парусины, веревкой прикрепленный к мачте.

Меня несло в сторону далекого материка, где вода разбивалась в белые брызги о черные скалы. Хочешь не хочешь, придется менять галс. Это не трудно, если знать как. Мне этого в жизни не приходилось делать. К тому же для устойчивости лодке не хватало балласта. Я, правда, собирался по всем правилам выложить дно известняковыми плитками, чтоб все было как у людей, да не успел. Но что-то делать было надо. Я навалился на румпель и, когда парус немного отпустил, подтянул и закрепил веревку, и тут маленький утлегарь пролетел у меня над головой, ветер подхватил парус и раздул его, да так натянул канат, что мне чуть руку заодно не сломало, и лодка помчалась к острову, и до того ее при этом трепало, что она аж кряхтела. И помучился же я, прежде чем повернул ее еще немного против ветра! Но было и еще кое-что, чего я не знал и что мне знать не мешало бы, – как раз здесь, когда море вот так разбушует, волны, которые на берег бегут, и те, что назад откатываются, столкнувшись, настоящий водоворот образуют. Куда ж было не нюхавшую моря лодку такому испытанию подвергать! Понял я, что из-за минутной гордости все загубил, потому что выдержать ей тут было никак невозможно. Чему-нибудь сейчас конец придет.

Конец пришел парусу. Его изодрало на ленточки. Будто тысячей бритв по нему прошли. Парус ты, мой парус! Лодка ты, моя лодка ненаглядная! Одна только польза, понял я, что я безмозглый дурак. Дурак – еще бы куда ни шло. Но вот что безмозглый – это уж мне было горько. Я налег на румпель, и тут ее завертело ветром, и волны начали ее швырять с превеликим удовольствием. Дурак ты, дурак, поносил я себя, понимая, что винить больше некого. И досталось же ей! С одной стороны шла крупная волна, с другой – помельче. Остров будто бежал мне навстречу на всех парах. Ну что, доказал? Мне видно было, как вдоль крутого берега бегут люди. Маленькие такие черные фигурки; бежали посмотреть на мой конец. Они, ясное дело,

скажут: говорили тебе, дурак бестолковый? И правы будут, своими глазами увидят, что правы. Но ведь они не правы, и я мог бы им это доказать! А я даже не дождался, чтобы священник мою лодку святой водицей покропил. На месте мне, видите ли, не сиделось.

Теперь уже и за весла не возьмешься. Стоит мне только румпель выпустить, и нам с лодкой обоим крышка. Я еще, помню, успел подумать, что меня и оплакивать-то некому, и тут вспенившаяся вода сгребла нас с лодкой в охапку, и мы исчезли в ее пучине.

Ну так. Значит, плавать я умел. Теперь я понял, что будь ты хоть сто раз пловцом, толку тебе от того все равно никакого.

Я так и застыл.

Раскрыл глаза.

Я по-прежнему сидел в лодке, обхватив обеими руками румпель. Лодка не двигалась с места. Мачту перекосило. Со спины меня обдавало брызгами. Я встал на ноги. Лодка даже не качнулась. Будто в бросках соревнуясь, разъяренные волны подкинули ее и швырнули через гряды скал, и теперь она лежала, привалившись на бок на песчаном берегу, под невысоким утесом. Я вылез. Почувствовал под ногами песок. И места-то тут было с пяточок. Я обошел лодку вокруг. Потыкал ее пальцем. Она была цела. Только в одном месте содрало смолу и видны были голые доски. Вот и все. Она осталась невредима.

Я глянул на море. Оно на нас не позарилось. Видно побрезговав, выкинуло оно нас обратно на берег, как дохлую рыбу на съеденье чайкам. И на том спасибо: не стоили мы того, а вот поди ж ты, как здорово угодили.

Наверху, над краем утеса, высунулись головы. Люди смотрели вниз, на нас. Я помахал им. Они так обалдели, что даже махать не могли. Знаю, что они ожидали увидеть. Совсем не то, что увидели. Голова у меня плохо варила, а все же понял я, что всю спесь с меня одним махом сшибло. Молодость молодостью, а только больше такого номера я, пожалуй, под горячую руку не отколю. Лодку отсюда в отлив снять – плевое дело. И новый парус я с большой радостью сошью.

Случилось все это во вторник. Я это наверное знаю. Потому что был день святой Бриджиты. Оттого-то я потом и лодку свою «Бриджитой» назвал. Не заслужил я того, но однажды во вторник Господь мне жизнь сохранил.

Среда

У меня была лодка. Я мог заниматься рыбным промыслом. В скором времени я и обходиться с нею научился. Лодка-то была хорошая, только больно мала – на такой далеко не уйдешь. Нужно было мне лодку побольше. Но опять же тут без компаньона не обойдешься. Мне Томас позарез нужен был. Да не так-то просто оказалось страх его перед морем сломить, а тут еще бабы своим карканьем мне все дело портили.

Жену мне было нужно. Так уж человеку от природы положено. С девушками, что жили на острове, дела у меня не клеились. Я не урод был, понимаешь. Я рослый был и здоровый, и сколочен как будто неплохо, но из-за того, что у меня только море да лодки на уме, они на меня смотрели, будто я умом некрепок, так что близко сойтись с какой-нибудь из них мне никак не удавалось. На свадьбах да на праздниках я и сплясать мог, и песни горланил не хуже других. Правда, на инструментах ни на каких не играл, но и это была не помеха, потому что очень мало есть мужчин, этим одаренных. От девушек я не бегал. Случалось, и на берегу при луне сиживали, и в тени какого-нибудь дома иной раз за полночь с девушкой простаивали, где всего свету, что от сигаретки. Удовольствие, конечно, да что толку-то? Уж и сладость девичьих губ я познал и сам, своими грубыми пальцами убедился, какая кожа у них чуть пониже плеча нежная да мягкая. Но понимал я, что все это не то. Потому что никогда у меня так сердце не отзывалось, и кровь огнем не обжигала, и душа не говорила, как, по моему пониманию, должно было быть с суженой.

Но и бобылем оставаться на всю жизнь не хотелось. На что мне это? Хотелось мне жену, да такую, чтоб мы с ней душу друг другу могли открывать, понемножечку да помаленечку, год за годом. Хотелось такую, чтоб меня жалела, чтоб слезы лила, если б я помер. Хотелось мне сына, потому что в этом человек ближе всего с Творцом сходен. И еще, чтоб сын мой был рыбаком. Уж это-то обязательно. Раз больше никто рыбаком быть не хочет, придется мне из него сделать рыбака. Но где она? Как ее найти? Есть ли она вообще-то? Однако и чудно же иногда жизнь поворачивается!

Был у меня молодой бычок. Держать мне его было никак нельзя. Лето в тот год выдалось засушливое, трава не уродилась, и корму на зиму получилось в обрез. И то, что у меня было запасено, нужно было беречь для коровы да для тощей свиньи, которые в уплату налогов предназначались. Так что оставлять бычка никак нельзя было. Он был крепенький, рыжий, с белой мордой. Жаль мне было с ним расставаться, да что поделаешь? В ту среду на материке была ярмарка. И вот, погонявшись малость за своим бычком, я его изловил, загнал в стойло, накинул ему веревку на шею и приволок к лодке. Там ему ноги спутал, уложил его как следует и повез на материк.

День был ясный. Солнце светило. Я этот день хорошо помню. Счастливый оказался день. Мелкие волны какую-то свою песню о борта лодки выстукивали. У телят глаза большие-большие. Мой теленок эдак жалостно смотрел на меня. Это потому, что я его от матери отнял. Будто и впрямь понимал, что я его с рук сбыть собираюсь. Чувствительность с животными – это, понятно, баловство одно, а то как же бы мы иначе есть их могли? Но когда ты один, вроде как я был, то с ними поневоле сживаешься. Посмотреть на стадо коров – будто все как одна. Ан нет. Все они разные, и во всем стаде двух одинаковых не сыщешь. У каждой свой нрав есть, на других непохожий. Можно сказать, совсем как люди – одна шалая, другая ласковая. Есть смышленные, есть глупые, а есть и вовсе даже умные. Очень ошибаетесь, если думаете, что все они одинаковые. С этим телком мы друг друга понимали. Бойкости в нем было хоть отбавляй, и вечно он со мной силами помериться норовил. Я его есть заставляю – не ест, из стойла гоню – не идет, я его в стойло – он опять не идет. Таким уж поперечным уродился. Таким и оставался до конца.

На ярмарке былолюдно. Полевые работы почти закончились, и у людей досуг появился. Привязал я у пристани лодку, взвалил телка на плечи и попер его вверх по ступеням. Он барахтался что есть сил, просто сладу с ним никакого не было. Наконец я его спустил на землю и накинул ему на шею веревку. Он рвался, пока я петлю как следует не затянул, – тут уж ему пришлось это дело бросить, чтоб не удавиться. Ну, говорю, теперь можно тебя и на рынок вести. Мы проталкивались сквозь толпу. Если кто со мной здоровался, я отвечал. Знакомых встретилось мне не больно много. На рынке все имелось, кроме рыбы. Представляешь, до чего дожили! Только и было рыбы, что бочка соленой селедки в магазине при почте. Я поинтересовался. Оказалось, что и это привозная. Можно этому поверить, я тебя спрашиваю? Давно я здесь не был, и дух свежего портера, который шел из дверей переполненного трактира, меня соблазнил. Я подцепил какого-то мальчонку. Подержи-ка, говорю, сынок, мне телка, пока я кружку портеру опрокину, – получишь три пенса. Четыре, говорит, да пряник с изюмом, тогда по рукам. Ну, видно, у тебя отец барышник, говорю я. Ладно, договорились. Я передал ему веревку и вошел в трактир. Гомон там стоял. Я подошел к стойке и спросил себе кружку. Мне запах здесь нравился. Пиво, пряности разные, сыромятная кожа. Благодать! Портер был лучше не надо, да только допить мне его оказалось не судьба. Услышал я, что мальчонка меня кличет. Он заглядывал в окно, строил рожи и тыкал куда-то пальцем. Я вышел к нему.

Теленок-то, говорит, убег. Дал мне раза в живот, черт окаянный, и поминай как звали. В какую сторону? спрашиваю. А пес его знает. Я поглядел по сторонам. Смотрю, поближе к центру города суматоха какая-то в толпе. Я двинулся было туда. Но тут мальчонка в меня вцепился. Эй, кричит, он мне живот покалечил! Возмещай-ка мне сначала убытки. Я тебе, пожалуй, возмещу по заднице, сказал я, ты уговор не выполнил. Я папке на тебя пожалуюсь, сказал он. Он тебя съест. Я не удержался и захохотал. Кинул ему монетку в один пенс и пустился вдогонку за своим теленком.

А он уж успел добратсья до телячьих рядов и затесался среди телят. Только завидел меня – и как бросится наутек! И что б вы думали? Все остальные телята, штук эдак двадцать, как один, за ним. Ну и потеха пошла, когда все кинулись в погоню! Вверх по улице, по закоулкам, через огороды, переворачивая кули с картошкой, с руганью, с хохотом неслись мы, каждый за своим теленком. Мой молодец вырвался вперед на четверть мили и летел, как скакун по беговой дорожке, пока я его наконец не углядел и не побежал за ним. Встречные пытались его завернуть, так он в поля сиганул. Небольшие такие поля здесь, отделенные друг от друга низенькими каменными оградами. Он через ограды давай скакать, я за ним. Нет-нет я уж будто совсем в угол его загоню, глядишь, а он опять увернулся. Уж я с ним и так и эдак, и лаской пробовал, и ругал его нехорошими словами. И верно, рожа у меня от бега пылала, как закат. Кончилось тем, что я споткнулся о камень и шлепнулся прямо в землю носом. И я поклясться готов был, что теленок обернулся и захохотал. Кто-то, во всяком случае, захохотал, и я поднял голову. Смотрю, через ограду со стороны дороги перегнулась какая-то девушка. Стоит и любитсья, как я на земле валяюсь.

К тому времени я уже озлился. Дураку палец покажи, он смеяться рад, говорю. Тебе бы в цирке выступать, Колмэйн-Лодкин, отвечает она. Из тебя б знаменитый клоун вышел. Люди б состояния тратили, чтоб только посмотреть, как ты за телятами гоняешься. И опять захохотала. Интересно, откуда она знала, как меня зовут? Я ее в глаза не видал. У нее волосы были каштановые, и потому, что она смеялась, я заметил, что зубы у нее белые-белые. Чем над чужой бедой смеяться, сказал я, попробовала бы лучше теленка поймать. Что я и сделаю, сказала она и перескочила через ограду, легонько так, словно перышко, и пошла к телку. Телятеля! говорит ему, а он, проклятый, будто только того и ждал, чтоб она ему за ухом почесала да поймала волочащийся конец веревки. Может, тебе еще чего-нибудь надо? спрашивает она. Я как сидел на траве, так и покатился со смеху. Она улыбнулась мне. Теперь тебе остается только купить телка, сказал я. Что я и сделаю, сказала она. Сколько ты за него хочешь? Ты что, спя-

тила? спрашиваю я. Она подумала. Пожалуй, что нет, говорит. Меня на ярмарку послали телка покупать. Называй свою цену. Я назвал цену на два фунта выше той, что рассчитывал за него получить. Господи, сказала она, бриллианты у него в брюхе зашиты, что ли? Или, может, он у тебя волшебный? Или копыта у него позолоченные? Рассмешила она меня. Торгуется прямо как оптовик настоящий! Ну, вот что, дам я тебе столько-то, сказала она, уж не помню сейчас сколько, но на фунт ниже его цены. Смотри с таких трат не обедняй, сказал я. Да еще сможешь ли ты столько заплатить-то? Мне телка сбывать задаром нужды нет. Он завтра не сдохнет. Ладно, говорит, по рукам! Я протянул руку. Она протянула свою. Поплевала на нее, отерла о платье и как хлопнет меня по руке! Даю тебе столько-то, говорит, и назвала правильную цену. Идет! сказал я и сжал ей руку. Давно это было, а я и по сей день помню. У меня рука была куда больше, чем у нее. И будто искра живая между нами пробежала. Никогда еще в жизни со мной такого не было. Я опустил глаза и посмотрел на наши руки, потом опять поднял и посмотрел на нее. Поручиться могу, что и у нее взгляд будто удивленный стал – пожалуй, не хуже моего. Вот так оно и случилось. В ушах барабаны бьют, и не слышно ничего. Лицо у нее вдруг серьезным стало, да и у меня, верно, тоже. Глаза – строгие. Не знаю, надолго ли этот миг затянулся, пожалуй, что навсегда. Что ему не будет конца. Пора было кому-то заговорить. Заговорил я. Я даже охрип. Мне пришлось горло прочистить. Откуда ты знаешь, как меня зовут? спросил я ее. А я прежде тебя видела, сказала она. И от людей слышала о тебе и твоей дурости. Они к твоему имени Лодкин добавляют – Колмэйн-Лодкин-Фьюри. Вот оно что, сказал я. А тебя они как величают? Я Катриона О'Флаэрти, ответила она.

Катриона, сказал я. Надо ж, какое имя ангельское. И как это у меня язык повернулся? Она посмотрела на меня. У нее все лицо от смеха сморщилось. Теперь я вижу, что не зря про тебя говорят, сказала она. Ты и правда дурной. И мы оба захохотали как одержимые. И тут же перестали. Помолчали немного. Потом я спросил: ты все еще на ярмарку собираешься? Она говорит: нет, раз уж я теленка купила. Да, надо ведь тебе уплатить. Она вытащила из кармана кошель и стала отсчитывать деньги прямо мне в ладонь. Считала она долго, а я этому только рад был. Я вернул ей обратно две полкроны. Это что еще? спросила она. А это на счастье, сказал я. Может, ты б ленту себе в волосы купила. Она подумала немного. Ладно, говорит. А какого цвета мне ленту купить? Хорошо б голубую, говорю, вроде как небо сегодняшнее. Духу-то не хватило сказать – вроде как глаза твои.

Потом я сказал: интересно бы знать, в какие руки мой телок попал, так что, может, я б прошел с тобой до дому и взглянул? Она опять надо мной засмеялась. Да, говорит, пойдем, пожалуй, а то еще не уснешь сегодня.

Вели мы теленка мили три. Домик их притулился у самого моря. Семья в нем жила большая. Катриона старшая была, а младшая – шестимесячная — еще в люльке лежала. Мать у нее была хорошая. Угостила она меня. И посмеялись мы тут вволю. Отец был рослый такой мужчина. Муртаг О'Флаэрти его звали. И штукарь же он оказался. По-моему, я им по нраву пришелся. Я детей люблю. С мелкотой я сразу дружбу свел. И радостно же было посмотреть на такую большую семью после моего дома и многих других осиротевших домов, прямо на седьмом небе был. Я понял, что, пока Катриона жива, я буду счастлив, будь она хоть за тридевять земель от меня. Главное – знать, что она есть на свете. Вот и все.

Поздно уж было, когда мы пошли назад, к моей лодке. Она вышла со мной. Это ты отметь. Да, вот еще что. Я сказал: так, значит, ты моря боишься? Она говорит: да. Что ж, всякий разумный человек так бы ответил. Ну а с тобой я моря не побоялась бы, сказала она, и, знаешь, она в лодку ко мне села. Было еще довольно светло, дул свежий ветер, а вот не побоялась же! Понимаешь, какое дело! Женщина в лодке, говорят, дурная примета! Пустая болтовня. Уж я-то знаю, что говорю. Распрощался я с ней на пристани, а потом, плывя по морю, все имя ее повторял. Так-то. Вот как это случилось. Да только, видно, счастье легко в руки не дается. А

как же без борьбы-то? У кого как, а у меня, например, борьба началась из-за того, что Катрионин отец шутикарем оказался.

Вот как оно вышло.

Жил в их деревне молодой парень по имени Паро Макдона. Ростом-то он вышел, да ума не вынес. Школу окончил с грехом пополам. Зато силища у него была непомерная. Отца Катрионы, который с ним всегда ласков был, он почитал как родного. А Муртаг тут свой расчет имел, хоть, может, и сам того не ведая. Дело в том, что Паро мог уйму работы провернуть, а хозяйство у Муртага было большое, да он еще лодку держал для ловли омаров, и помощь Паро ему ой как нужна была! И так уж издавна у них повелось, что каждый раз, как Паро ему услугу какую окажет, Муртаг говорил: благослови тебя Господи, Паро. Вот войдешь в возраст, за тебя старшую дочь отдам. И говорил-то он это в шутку, понимаешь, да Паро-то все за чистую монету принимал. А Муртаг, чтоб и впредь помощь себе обеспечить, нет-нет да и подольет масла в огонь, нет-нет и скажет ему: а знаешь, Паро, пожалуй, она и впрямь по тебе вздыхает. Я сам сегодня видел, как она тебе вслед поглядывала. А то он прикидывался, будто приветы Катрионе от Паро передает, и Паро верил. Все это он для потехи выдумывал, а на выдумку он был мастер. Только лихое это дело – с дураками шутить.

Как-то раз воскресным вечером я шел к пристани. Проходя мимо трактира, заметил я в сумерках двух парней, но внимания на них не обратил, даже когда они пошли следом за мной. Я уже по ступенькам к воде спускался, когда Паро окликнул меня по имени. Эй, Колмэйн-Лодкин, крикнул он, а ну, стой! Я его обождал. Он подошел ко мне вплотную. Росту он был дай Боже. Мне на него снизу вверх смотреть приходилось, а и я не карлик. Я ему говорю: вечерок-то, говорю, какой хороший, Паро. Благодать! И чего это, говорю, тебе от меня надобилось? Он нагнулся к самому моему лицу, зубы у него были белые, крупные и вперед торчали. От него портером разило. Ты вот что, говорит, ты больше к Катрионе не ходи, слышишь ты, Колмэйн-Лодкин? Не про тебя она. Она мне ее собственным отцом обещана. Я как представил себе Катриону, такую умненькую да бойкую, рядом с Паро, так даже смех меня разобрал. Думаю, он шутки шутит.

Засмеялся. Он опустил руку мне на плечо. А рука тяжелая была, так что я аж согнулся. А ты не смейся, сказал он. Она еще под стол пешком ходила, когда ее отец родной за меня просватал. Ты на нее рта не разевай. Тут я из себя вышел. Ты меня только тронь еще, Паро, говорю ему, я тебе всю морду разобью! Полегче, Фьюри, сказал второй парень, эдакий коротышка, по имени Моран. Паро свое право имеет. Я своими ушами слышал, как ее отец это говорил. Моран мне не нравился. По-моему, он сторону Паро держал из какой-то своей корысти. Если верить тому, что люди говорят, так это на него очень даже похоже было. Ты, Моран, говорю, лучше о себе пекись, тебе б, говорят, не мешало! Послушай! Послушай-ка! сказал Паро и снова стукнул меня по плечу. А ну, убери руку, Паро! заорал я. Смотри, ты меня, кажется, доведешь. А ты наперед знай, сказал он.

Слушай, сказал я тогда. Мужчине свобода дана! И ей тоже свобода дана. Ты мне только скажи, что она своей охотой за тебя идет, и ноги моей на материке больше не будет. Вот и все. Скажет она тебе это, ты приди и мне скажи. Он сжал кулаки. Не приезжай больше, Колмэйн, а то худо будет. Ой, смотри, худо будет! Паро, сказал я, когда хмель с тебя сойдет, ты сам рассудишь. Я буду у вас на той неделе в среду, это как раз престольный праздник ваш, так что ты будешь трезвый. Вот тогда и потолкуем. Я спустился вниз. Он стоял на верхней ступени и смотрел на меня. Так и знай! Так и знай! кричал он мне вслед. Все хорошо было, пока ты не объявился. Сиди на своем острове, Колмэйн, слышишь? Тебе же лучше будет. И что ты за человек такой, Фьюри, крикнул мне Моран, ни стыда у тебя, ни совести! Они так и не ушли с пристани, пока я вместе со своей лодкой не скрылся из виду.

Вот ведь что смешно-то было: я ж не подозревал, каким манером Муртаг Паро работать на себя заставляет. Я-то думал, Паро это просто спьяну чудит. Я, правда, немного побаивался,

как бы он ненароком Катриону не обидел, но думал, что, если я с ним трезвым подобрау побеседую, то все, может, как-нибудь образуется. Между островом и материком испокон веков распря идет: кто кого лучше да кто кого хуже, кто кого культурней да кто кого некультурней. Уж не знаю, что тому причина, но так уж оно издавна повелось, и всякий раз, как островитяне приезжали на материк и выпивали там лишку, дело кончалось здоровенной дракой. Сам я до драк не охотник, потому что нрав у меня обычно тихий – так разве иногда сорвусь – и я всегда умел зубы кому угодно заговорить и тем самым драки избежать. Такой уж ум у меня шустрый был.

Так что я не больно-то беспокоился, когда в среду вечером, в престольный праздник, плыл на своей лодке к материку. В чем дело, толком я не понимал, но, зная теперь Муртага поближе, я догадывался, что без него тут не обошлось. Ну а верзилы вроде Паро – это ведь сущие дети. Поговори с ними по-хорошему, не спеша, растолкуй все по порядку – они и поймут. Если потребуется Муртага на чистую воду вывести, тоже беды большой не будет: такой человек от своры собак сумеет отбрехаться, не то что от Паро. Показалось мне, что в деревне для праздника что-то больно уж тихо. Должно бы это меня насторожить. Вечер был тихий, светлый, совсем как летом. Солнце уже село, но небо еще не погасло, так что кто угодно мог разглядеть, как я в своей лодке от острова отчаливаю, – вот какая ясная, хорошая погода стояла. Я думал о Катрионе. Возьмете вы книгу почитать: писатель, он свое дело знает, он вам людей показывает и жизнь их рассказывает понемножку да помаленьку, и чем дальше читаешь, тем они вам понятнее становятся. Вот и со мной так-то было. Право, чем ближе я ее узнавал, тем милее она мне становилась. С ней я хотел жизнь прожить. Легко сказать, да ведь она дома была любимица. В семье на ней все держалось. Я-то знал. Как же я ее так вдруг от них заберу? Да разве они ее отпустят? Им страшно подумать было, что она может уйти жить на остров. Сами-то они всю жизнь на материке прожили. Вот я и помалкивал, понимаешь, какое дело? Каждый раз, собираясь туда, я думал: ну, уж сегодня обязательно поговорю, а как ближе к делу, так я слова выдавить не могу. А то вдруг сомнение меня начинало разбирать: а что, если ошибаюсь? Может, и не захочет она вовсе идти ко мне на остров жить? Да, сложная штука любовь, если вдуматься.

Дорога тут поворот дает. По одну сторону ее скала огромная, прямо в небо упирается, и дорога ее кругом обегает. На этом самом месте я и получил удар по голове. От этого удара я чуть было чувств не лишился. Я упал на руки, и рядом со мной упал камень, которым меня зашибло. Шаркнули подошвы. Я дернулся, и пинок, который мне предназначался, пришелся все по тому же камню. Потом я снова увидел занесенный сапог, тот самый, от которого только что увернулся, и, встав на колени, привалился к скале. Они стояли передо мной и громко дышали – Моран и Паро. Я только глянул на Паро и понял, что он пьян. Разве станет безобидный человек в трезвом уме кому-то в голову камнями швырять? Я чувствовал, что у меня по лицу течет кровь. Но рассудок начал возвращаться, а с ним злоба. Паро что-то кричал. Он шел на меня с поднятыми кулаками. Моран мельтешил вокруг. Как же это я с ними двумя управлюсь? подумал я. Говорил тебе, говорил тебе! орал Паро, подступая ко мне. Когда он был совсем близко, я проскочил у него под рукой и кинулся на Морана. Моран держал в руке камень. А я в своих парадных башмаках был, не в сандалиях. Покуда он замахивался, я пнул его изо всех сил в коленку. Он завизжал, как баба, и сел в придорожную пыль, схватившись за ногу. Только-только успел я с ним разделаться, как Паро меня стукнул. Я полетел в пыль. Прямо будто лошадь меня лягнула. Оставаться лежать, однако, было нельзя. Он нацеливался ударить меня еще раз, но я увернулся, и он с маху сделал несколько шагов вперед, и тут я огрел его кулаком по шее, отчего его пронесло еще дальше. Но свалить с ног мне его не удалось. Тут бы мне надо бежать, да у меня сил не осталось. Я ждал, чтоб он повернулся ко мне лицом, а сам старался отдышаться. Когда он снова кинулся на меня, я ему в зубы дал. Я об зубы его торчащие кулак себе раскровенил. Но тут он схватил меня одной рукой за грудки, а другой давай колошматить. Мне тоже нет-нет удавалось изловчиться ударить его то в живот, то в кадык, но

это было все равно что стог сена бить. Капля по капле и камень долбит. Своим кулачищем Паро насмерть меня забивал. Прямо как кувалдой меня молотил по чем попало. Потом, помню, он обхватил меня и стал давить. Я задыхался. Я слышал, как трещат мои ребра. Ну, думаю, дело плохо. Тогда я уперся ему в подбородок, стараясь свернуть ему шею, и подставил подножку. Сработать-то подножка сработала, да не так, как надо. Я думал, что поверх него упаду, а получилось-то наоборот. Это уж мне крышка была. Теперь я лежал не шевелясь, а он замахивался и бил, замахивался и бил, дыша на меня винищем, душу из меня выколачивая.

Я услышал, как она крикнула: Паро, перестань! Сейчас же перестань, Паро! Тогда я застыл. Я подумал: Господи, как же после такого жить-то? Удары на меня больше не сыпались, и тяжесть перестала давить, но я лежал, как парализованный. О чем это я думал? Эх, думаю, надо бы не так с ним, надо бы по-другому. Не стукнули б меня камнем, я б его и так и эдак мог. Как ты, Колмэйн? Колмэйн, ты как? Я ничего. Сел, а сам за голову держусь. Да кто ж это тебя надоумил, Паро! Что ж это ты натворил? А Паро тут же рядом сидит. А чего это он за тобой пожаловал? сказал он. Ну и что? Не за чужой ведь, за своей пришел, сказала Катриона. Не-е, мне твой отец когда еще говорил. Ты меня в мыслях держала, пока его не было. Ишь, что выдумал! Да отец тебя за нос водил, слышишь ты? Не может того быть, сказал Паро. Я тебе Богом клянусь, обманул он тебя. Мне никого, кроме Колмэйна, не надо, слышишь ты, Паро? Один он для меня во всем свете. Обманываешь? Правду тебе говорю. Ты мозгами пошевели-ка, Паро. А чего ж тогда твой отец заливал? Чего он мне заливал? Смотрела я, что ли, на тебя когда-нибудь или разговаривала с тобой так, будто ты мне по сердцу? Не-е. Да только он сказал, что отдаст мне тебя. У нее аж голос злой стал. А ну-ка, вставай, Паро, да иди к Муртагу. Иди-ка ты к моему отцу да спроси его, с чего это он тебе врал. Иди к моему отцу, Паро. Я Колмэйна выбрала, и никого другого мне не надо. Слышишь ты? Чего ж не слышать, слышу. Я поднялся на ноги. Прислонился к скале. Катриона держала меня за окровавленную руку. Как ты, Колмэйн? Ну, как ты?

Не хотел я, а посмотрел на Паро. Он сидел в пыли, и слезы у него по щекам катились. Самые настоящие слезы. Правда, что пьян он был. А все-таки... Слезы текли у него из глаз, и губы он надул, как дитя малое, у которого любимую игрушку отняли. Моран сидел у дороги на каменной изгороди, стонал и тер себе колено.

Ступай домой, Паро, сказала Катриона. Отец дома. Ступай поговори с ним. Паро поднялся с земли. Сходить, что ли? Пойди, пойди, пусть он тебе все объяснит, сказала Катриона. Я его спрошу, сказал он. А мне что, уж и не надеяться? Мы с тобой просто соседи, сказала Катриона, а теперь, после того, что ты натворил, я и знать тебя не хочу. И что это за дурость на тебя нашла? Паро стоял, опустив руки. Помотал головой. Нагнулся, подобрал свою кепку. Утер ею глаза. А я-то думал, а я-то думал... И потом еще сказал: это не я камнем тебя зашиб, Колмэйн-Лодкин, это Моран камень кинул. Я б камней не стал кидать. Кабы знать, так я б тебя пальцем не тронул. Эх, нехорошо это! Нехорошо человеку пустые надежды подавать, верно, Катриона? Верно, сказала Катриона. Ну, так скажи своему отцу, что больше я ему не помощник, сказал Паро. Нехорошо это. И пошел прочь, большой такой, понурый. Я все еще думал, как бы мне его не так, а эдак. А тут мне Моран на глаза попался. Я подошел к нему. Ну, Моран, теперь тебе не за кого прятаться. Вставай-ка да получи, что тебе причитается. Нет, брось! заверещал Моран. Нет, брось! крикнула Катриона. Ты мне и так коленку попортил, сказал Моран, ногой меня пнул. Он заковылял прочь. Если б не она, я б ему поддал раза. Дрянной был человек этот Моран. Мы ему вслед посмотрели.

Это Бог тебя послал, сказал я. Если б не ты, он бы меня, факт, прикончил.

У меня на сердце беспокойно было, сказала она. Отец с Паро все шутки шутил. Ничего себе шутки! сказал я. Я с его шуток чуть жизни не лишился. А скоро мы сможем обвенчаться, Колмэйн? спросила она. У меня аж помятые ребра заныли. Ровно через три недели, Катриона, сказал я. И пусть отец не думает, теперь с меня взятки гладки, сказала она. Через три недели,

значит, и обвенчаемся. Будь я поцелее, я б тебе тут же сплясал, сказал я. Ты это правда, Катриона? Ты правда? Ведь если подсчитать, так у меня не больно-то много чего есть.

С самого того дня, как я тебя с телком встретила, сказала она, я знала, что у тебя есть для меня самое главное. Я засмеялся, и от этого стало больно голове, но сердце лопалось от счастья. И она промыла мои раны мокрой тряпочкой, и мне было сладостно, что она тут, со мной рядом. И жизнь моя стала полна, потому что теперь одиночество мое кончилось. Да, вот что я хотел еще сказать: свадьбу-то мы играли тоже в среду.

Четверг

Я не раз слышал, что людям вроде меня о красоте судить не положено. То есть не то чтобы считалось, будто мы красоты природы не замечаем, а не чувствуем ее, что ли. Только разве это возможно – замечать, да не чувствовать? Но вот господам, которые приезжают из города посмотреть, как простой человек в деревне живет, это, видно, невдомек. Разве тот, кто конфетами торгует, говорят они, знает, из чего они приготовлены? Да бросьте, говорят, откуда ему чувствовать, когда ему все это с детства привычно! Известно им и то, что неоткуда простому человеку образованным быть, когда все школы да университеты от него так далеко, что и не добраться до них, почему и остается одна начальная школа, где его учат читать да нехитрые задачки по арифметике решать. Случалось мне раз слышать, как люди грамотные при мне друг другу на красоту заката указывали или там на какое-нибудь облако затейливое или любовались, как луна в просвет между туч бурной ночью проглядывает или как лодка по тихому морю плывет. Я вот тут, рядом, а они разговаривают, будто и нет меня. Зря они это.

Жизнь, понимаешь ли, вот настоящая книга. Взял я раз тут одного с собой на рыбную ловлю. Он большим профессором где-то там у себя был. И все он мне про философию говорил. Много он лет проучился и страсть какой образованный был. А я, поверишь ли, его понимал. И многие тут у нас его понимали. Удивляешься? Он не удивлялся. Он говорит: и ничего тут удивительного нету. Потому что, говорит, мы про жизнь книжки пишем, а ты эту жизнь сам живешь. Книжки, говорит, – это просто печатное слово, и рассказывается в них про жизнь человека, и про его разумение, и отчего он так поступает, а не иначе. Все люди в основе одинаковые, хоть белые, хоть какие, и все же все они разные... Я это все к тому, что хочется мне про себя все по совести тебе рассказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.